

Л.Н. Синякова

Новосибирский государственный университет

**«Онегинский» сюжет в сюжетной структуре
повести И.С. Тургенева «Два приятеля»:
культурно-антропологический аспект**

Аннотация: В статье исследуется репрезентация культурного сознания среднего человека эпохи 1840-х гг. в повести И.С. Тургенева «Два приятеля». Основная сюжетная ситуация повести соотносится с сюжетом стихотворного романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», однако различие культурных антропологем позволяет сделать вывод о смене ценностных ориентиров в мировоззрении человека 1820-х и 1840-х гг. и соответствующем изменении художественных парадигм классической русской литературы.

The article regards some mental changes in an average man's mind at 1840s comparing with the typical intellectual culture of 1820s based on the plot of the trial of interpersonal relationships. The subject of research are Turgenev's story «Two mates» and Pushkin's verse novel «Evgeny Onegin». The conclusion is the cultural difference of characters involves paradigmatic reconstruction of literature in whole.

Ключевые слова: культурная антропология, сюжет, интертекстуальность, литературная эволюция.

The cultural anthropology, plot, intertextuality, the literary evolution.

УДК: 82.091.

Контактная информация: Новосибирск, ул. Пирогова, 2. НГУ, гуманитарный факультет. Тел. (383) 3634230. E-mail: scholast@ngs.ru.

Сюжет повести И.С. Тургенева «Два приятеля» (1853) настолько очевидно соотносим с сюжетом стихотворного романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»¹, что это позволяет говорить о пародической интерпретации сюжетных функций действующих лиц². Изменение культурно-исторической мотивировки поведения и жизненной стратегии персонажей становится одним из определяющих факторов литературной эволюции.

Предметом статьи является репрезентированная в сюжетной структуре повести И.С. Тургенева «Два приятеля» манифестация культурного сознания человека 1840-х гг. в сравнении с культурным сознанием человека 1820-х гг. По определению К. Леви-Строса, «социальная антропология занимается... изучением социальных установлений, рассматриваемых как системы представлений, а куль-

¹ Это неоднократно эксплицируется автором, в том числе в интертекстуальном сюжетном контексте.

² Мы следуем тыняновскому различению пародичности и пародийности как направленности «на» или «против» произведения: «Пародичность и есть применение пародических форм в непародийной функции. Использование какого-либо произведения как макета для нового произведения – очень частое явление. При этом, если произведения принадлежат к разным, например тематическим и словарным, средам, – возникает явление, близкое по формальному признаку к пародии и ничего общего с нею по функции не имеющее» [Тынянов, 1977, с. 290].

турная антропология – исследованием средств, обслуживающих социальную жизнь общества, а в известных случаях также социальных установлений, рассматриваемых как такие средства» [Леви-Строс, 2008, с. 8–9]. Для реконструкции «бессознательного характера коллективных явлений» (Леви-Строс), т.е. культурной идентичности человека 1840-х гг., Тургенев использовал сюжетную схему пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин».

«Онегинский» сюжет включает в себя следующие тематические мотивы: дружба двух психологически и мировоззренчески различных молодых людей; влюбленность провинциальной, внутренне богато одаренной девушки в столичного гостя (временно пребывающего в статусе соседа-помещика); ссора и дуэль между двумя бывшими приятелями; странствование «духовного скитальца» с целью преодолеть неудовлетворенность собой; зеркальная ситуация влюбленности протагониста в героиню; отказ героини от любви и повторный уход-бегство протагониста. В свою очередь, «онегинский» сюжет, как доказал В.И. Тюпа, восходит к протосюжету инициации. Исследователь находит в сюжете стихотворного романа А.С. Пушкина четырехфазную структуру *мирового археосюжета* о «необратимом историческом событии»: обособление (уход из дома), искушение (новое партнерство), лиминальную фазу испытания смертью и фазу преобразования [Тюпа, 2003, с. 188–193].

Эти фазы присутствуют и в сюжетной архитектуре повести И.С. Тургенева «Два приятеля», разумеется, в редуцированном виде – «облегченность» сюжетной конструкции в данном случае обусловлена авторской интенцией к созданию произведения «ни о чем», точнее, ни о чем особенном. В рукописи Тургенева сохранился эпиграф, отсутствующий в печатном тексте: «А. Что вы этим хотите сказать? – Б. Решительно ничего. – А. А! Ну это другое дело. (Отрывок из разговора)» [Тургенев, 1980, с. 625]¹. Сравним с акцентуирующим персоналогическое содержание эпиграфом к стихотворному роману А.С. Пушкина: «*“Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может многого”*. Из частного письма (фр.)». Человек 1840-х годов существует в контексте обыденности – о нем нельзя сказать «решительно ничего»; человек 1820-х годов пребывает в состоянии культурной игры и облекается в маску байронического / демонического героя; пушкинский Онегин обладает, кроме того, «*отчетливо-литературной*» фамилией (см., в частности: [Лотман, 1983, с. 112–115]).

Смысловая насыщенность пушкинского стихотворного романа потенцирует, в числе многих других, ироническую коннотацию его художественного целого: «*“Евгений Онегин”* не только действительность авторского сознания. Пушкин взял уровнем выше, создав художественную модель универсального иронического сознания, субъектом которого может стать любой читатель романа» [Чумаков, 1999, с. 22]. Предположим, что таким читателем романа стал И.С. Тургенев, находившийся осенью 1853 г. в Спасском и написавший за месяц, с 15 октября по 17 ноября, диалогически-ироническую по отношению к стихотворному роману Пушкина повесть. Поэтика повести «Два приятеля» перформатирует культурное сознание «среднего» русского человека эпохи 1840-х гг., однако это сознание невольно обращено к литературному опыту 1820-х гг., «фреймовой структурой» которого послужил роман «Евгений Онегин».

Генеральная писательская интенция И.С. Тургенева сформулирована им в Предисловии к романам (1880) как воссоздание имманентно-исторических типов сознания «*русских людей культурного слоя*»: «Автор “Рудина”, написанного

¹ Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. В круглых скобках указывается страница. Текст романа «Евгений Онегин» приводится с указанием главы арабской цифрой и строфы – римской.

в 1855-м году, и автор “Нови”, написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: “the body and pressure of time”, и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений» [Тургенев, 1982, с. 390]. Задача Тургенева, по сути, культурно-антропологическая, поскольку «*надлежащие типы*» – это художественно-антропологические структуры (репрезентация образа человека в художественной парадигме), а «*быстро изменяющаяся физиономия русских людей культурного слоя*» – трехчленная формула социокультурной, антропологической и исторической манифестаций человеческого мира, составляющих предмет культурной антропологии.

Номинативное заглавие стихотворного романа Пушкина «Евгений Онегин» и предикативное (ситуационное) – повести Тургенева «Два приятеля» – активизируют разные читательские ожидания и подразумевают разные варианты культурно-антропологической составляющей обоих произведений: установку на единичность и исключительность человека как субъекта бытия у Пушкина и – установку на изоморфность человеческого существования, а потому и заменяемость человека в бытийном пространстве «другим» – у Тургенева. Предпонимание сюжетной логики произведений, таким образом, может трактоваться как повествование о необычной жизни лично одаренного человека («Евгений Онегин») и повествование об обычной жизни обыкновенных людей («Два приятеля»).

Начальная ситуация повести И.С. Тургенева совпадает с начальной ситуацией стихотворного романа А.С. Пушкина: молодой человек двадцати шести лет (столько же было в начале романа пушкинскому герою) приезжает в свое родовое поместье из столицы (где, в отличие от Онегина, служил). Культурные различия двух протагонистов заложены в их микросоциальном статусе: богатый и бедный помещик; светский человек и чиновник; денди и человек, следующий общепринятому поведенческому стандарту¹) и цели приезда (получение наследства в пушкинском романе и необходимость поправить дела – в повести Тургенева). Оба действующие лица проводят – вынужденные или необязательные, но либеральные – реформы в хозяйстве: Вязовнин, герой Тургенева, «сменил старосту, уменьшил оклады дворовых <...> впрочем не предпринял никаких резких мер и не затеял никаких усовершенствований...»; «входил.. в сущность дела без особенного рвения и не торопясь» (321). Ср.: «Один среди своих владений, / Чтоб только время проводить, / Сперва задумал наш Евгений / Порядок новый учредить. <...> Ярем он барщины старинной / Оброком легким заменил; / И раб судьбу благословил» (2, IV).

И Онегин и Вязовнин испытывают скуку: «Деревня, где скучал Евгений, / была прелестный уголок...» (2, I); ср.: «С непривычки он (Вязовнин. – Л.С.) скучал в деревне сильно» (321); от скуки завязывается перерастающее в дружбу знакомство с соседом («от *делать нечего* друзья»)². В произведении Пушкина друзья являются носителями байронического и геттингенского вариантов романтического мирозерцания и соответствующих эстетических предпочтений и этики. Ленский, «поклонник Канта и поэт», «пел поблеклый жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет» (2, VI, X). Геттингенский (мистико-философский) романтизм Лен-

¹ «...В жизни уверенные в себе щеголи нередко балансировали на грани публичного скандала, допуская весьма рискованные ситуации: они обожали розыгрыши и эпатаж; облик денди подразумевал «провокативное поведение на публике, иронический цинизм, маниакальную сосредоточенность на стиле и фигуре, холодность, эстетские позы, деланную небрежность, легкую “скользящую” эрудицию, андрогинные игры...» [Вайнштейн, 2006, с. 22].

² Здесь и далее подчеркивания цитируемых авторов выделяются жирным курсивом.

ского эстетически ориентирован на метафизические и элегические предметы: «Он пел разлуку и печаль, / И *ничто*, и *туманну даль*» (2, X). Байронический культурный комплекс, помимо прямых отсылок к опыту Онегина (1, IV, XXXVIII; 7, XIX, XXII, XXIV), проявляется и в общей характеристике поколения 1820-х гг.: «Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно; / Нам чувство дико и смешно. / Сноснее многих был Евгений; / Хоть он людей, конечно, знал / И вообще их презирал...» (2, XIV). В повести Тургенева разность друзей демонстрирует уже не различие культурных вариантов единого «литературного пространства», а столичную и провинциальную субкультуры социальной группы в целом: «Вязовнин... происходивший от богатых родителей, получил хорошее воспитание, учился в университете, знал разные языки, любил заниматься чтением книг и вообще мог считаться человеком образованным. Крупницын, напротив, говорил с грехом пополам по-французски, без особенной нужды книги в руки не брал и скорее принадлежал к числу людей необразованных» (322). Таким образом, меняются координаты нравственного состояния генераций русской интеллигенции: литературоцентричного в 1820-е гг. и прагматичного (решающим фактором которого является образованность) в 1840-е.

Вязовнин не только бывший столичный житель, но и неявно выраженный, редуцированный тип денди: ему присущи ленивые жесты, подчеркнутая аккуратность, англазированность. «Вязовнин любил хорошо покушать и охотно говорил о том, как приятно хорошо кушать и что значит иметь вкус»; «менял в день два носовых платка»; «Обыкновенно утром... часов в десять, Борис Андреич еще сидел возле окна, в красивом шлафроке нараспашку, причесанный, вымытый и в белой как снег рубашке, с книжкой и чашкой чаю...»; в отличие от Крупницына Вязовнин «кушал гораздо меньше; с него достаточно было куриной котлетки или двух яичек всмятку с маслом и какой-нибудь *английской приправы* в хитро устроенном и патентованном сосуде...» (322, 333, 324–325). Рудиментарный дендизм Вязовнина обнаруживается и в его портрете: «Вязовнин был довольно высокого роста, худ, белокур и смахивал на англичанина; держал свою особу, особенно руки, в большой чистоте, одевался изящно и щеголял галстуками... столичные привычки!» (322). И все-таки, невзирая на «столичность» и «дендизм», тургеневский герой в своем бытийном содержании совпадает с антропологемой «обычного человека» и сближается со своим внешним антиподом Крупницыным: «Одно в них было общее: оба они были, что называется, добрые малые, простые ребята. Крупницын таким родился, а Вязовнин стал таким» (323). Вязовнин «стал» таким же, как его приятель, – видимо, преодолев ролевое «дендистское» поведение и став «обыкновенным» человеком.

Сфера существования «обыкновенного» человека – быт, правильный порядок ежедневных занятий и сопутствующая отсутствию эмоциональных впечатлений скука. Если Евгений Онегин избегал соседей с их хозяйственно-бытовой топикой («*Их разговор благоразумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родине, / Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическом огнем...*» (2, XI)), – то действующие лица тургеневской повести, напротив, ведут беседы «о погоде, о вчерашнем дне, о полевых работах и о хлебных ценах», а также «о близлежащих помещиках и помещицах» (323). В стихотворном романе Пушкина друзья обсуждают проблемы истории, философии науки, морали, экзистенциальные проблемы жизни и смерти и, конечно, страстей: «Меж ими все рождало споры / И к размышлению влекло: / Племен минувших договоры, / Плоды наук, добро и зло, / И предрассудки вековые, / И гроба тайны роковые, / Судьба и жизнь в свою череду, / Все подвергалось их суду»; «Но чаще занимали страсти / Умы пустынноиков моих...» (2, XVI, XVII). Интеллектуальная культура «сворачивается» от философского универсализма в 1820-е гг. до хозяйственного прагматизма в 1840-е.

Как только сюжетный ритм тургеневской повести приобретает динамику, автор начинает прибегать к цитатному заимствованию из стихотворного романа

А.С. Пушкина. Испытание Вязовнина выстроено как тройное сватовство к разным предполагаемым невестам – к бойкой Заднепровской, застенчивой Пелагее Тиходуевой и простодушной Верочке Барсуковой; лишь третье увенчалось успехом. Первую кандидатуру Вязовнин оценивает скептически, при этом ссылаясь на пушкинский роман: «...сверх того, она, по его мнению, слишком чисто и правильно выражалась по-русски... Борис Андреич разделял мнение Пушкина, что – *Как уст румяных без улыбки, / Без грамматической ошибки* нельзя любить русской речи» (332). Заднепровская, в свою очередь, жалуется на непонимание – и сквозь этот трюизм просвечивает признание в отсутствии родственной души из письма Татьяны к Онегину. Сравним: «Здесь просто нет живой души, просто не с кем словом перекинуться. <...> Я не могу понять, что за люди здесь живут. А те <...> с которыми было бы приятно познакомиться, – те не ездят, оставляют нас, бедных, в нашем невеселом одиночестве» (332); «Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не понимает, / Рассудок мой изнемогает, / И молча гибнуть я должна»; «Когда б надежду я имела / Хоть редко, хоть в неделю раз / В деревне нашей видеть вас...» (3, XXXI).

В доме Тиходуевых Вязовнин разыгрывает ситуацию Онегина, привезенного в деревенскую обитель Лариных. Крупицын наставляет приятеля: «Это предпочтенное семейство. Старик служил полковником и прекрасный человек. Женка его тоже прекрасная дама. У них две дочери, чрезмерно любезные особы <...> одна этак будет поживее, другая – потише; другая-то, признаться, уже слишком робка <...> – Хорошо, увижу, – возразил Борис Андреич и подумал про себя: *«Словно семейство Лариных из “Онегина”»*. И, по милости ли этого воспоминания, по другой ли какой причине, черты лица его приняли на некоторое время вид *разочарованный и скучающий»* (337–338). Ситуация разворачивается подобно первому явлению Онегина у Лариных. Девушки Тиходуевы – легкомысленная Эмеренция и робкая Пелагея – напоминают шаржированные портреты сестер Лариных из пушкинского романа в стихах: «Из дочерей одна, Пелагея, черноволосая и смуглая, глядела исподлобья и дичилась: другая, напротив, Эмеренция, белокурая, полная, с круглыми красными щеками, с маленьким, съезженным ротиком, вздернутым носиком и сладкими глазками, так и выдавалась вперед; видно, что обязанность занимать гостей лежала на ее ответственности и нисколько ее не тяготила» (339). После короткой беседы с Пелагеей (в ответ прозвучали невразумительные реплики: «всякую», «нет-с», «да-с») иронически настроенный Вязовнин решает: «Нет <...> какая это Татьяна! Это просто олицетворенный трепет...» (344). Наконец, возвращаясь домой от Тиходуевых и глядя на луну, он размышляет: «И это словно из “Онегина”... “Кругла, красна лицом она...” – но хорош мой Ленский, и хорош я, Онегин!» (346). Происходит мена позиций означаемого и референта в метафоре «лицо – луна», которая в пушкинском романе деромантизирует образ Ольги (3, V). В произведении Тургенева не лицо сравнивается с лунной, а напротив, луна – с лицом; Вязовнин одушевляет луну по контрасту с теми неодушевленными лицами, которые видел накануне. Кучера, который везет приятелей от Тиходуевых, зовут Ларюшкой – еще одна аллюзия на «онегинский» текст.

Избранница Вязовнина, Верочка Барсукова, в которой «не было ничего особенно привлекательного», однако «доброе существо» (349), по выражению Крупицына, «слишком проста» (348) для довольно образованного и в меру утонченного человека. Спасаясь от простоты Верочки, Вязовнин предпринимает поездку за границу. На этот раз Вязовнин цитирует стих из пушкинской «Полтавы»: «Нет, – воскликнул он, – я вижу, что *В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань...* А какой он был *конь?*» (372). Напомним, что Мазепа произносит эти слова, отрекаясь от тихого счастья с Марией Кочубей: «Ах, вижу я: кому судьбою / Волненья жизни суждены, / Тот стой один перед грозою, / Не призывай к себе жены». Таким же отречением, по сути, выглядит поспешное бегство

Вязовнина от домашней скуки в Европу: пушкинский стих снижен и забытовлен в контексте тургеневской повести. Героический модус не свойствен современному человеку, – таков имплицитный посыл приведенного фрагмента. «Добрые малые, простые ребята»; «слишком проста», «доброе существо» – постбайроническая эпоха формирует запрос на «антибайроническую» личность, в которой не должно быть ничего героического, бунтарского и масштабного (в романтическом мифе личность соразмерна универсуму).

Первая же прогулка в Париже приводит Вязовнина к глупой дуэли и гибели. Тургеневский «Онегин» повторяет сюжетную судьбу пушкинского Ленского. Что касается персонажа, исполнявшего сюжетную функцию «Ленского», Крупицына, – его дальнейшая судьба напоминает второй, нереализованный вариант судьбы пушкинского героя. *«А может быть и то: поэта / Обыкновенный ждал удел. / Прошли бы юношества лета: / в нем пыл души бы охладел. / Во многом он бы изменился, / Расстался б с музами, женился, / В деревне, счастлив и рогат, / Носил бы стеганный халат <...> Пил, ел, скучал, толстел, хирел. / И наконец в своей постеле / Скончался б посреди детей, / Плаксивых баб и лекарей».*

Если у Пушкина существует альтернатива между «поэтическим» и «прозаическим» векторами жизни, то у Тургенева «поэтическое» помещено в самый прозаический жизненный контекст – оно не элиминируется, а видоизменяется, становясь одним из атрибутов существования «обыкновенного» человека. Через год «сердце Верочки отдохнуло понемногу и зажило». «Притом же ни Вязовнин не принадлежал к числу людей незаменимых (да и есть ли такие люди?), ни Верочка не была способна посвятить себя навек одному чувству (да и есть ли такие чувства?)» (379). В конце концов Крупицын сочетается узами брака с Верочкой: «Жизнь их после свадьбы продолжалась точно так же, как и прежде: в ней нечего было переменять. С тех пор уже прошло около десяти лет... <...> Петр Васильич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно – мирно и тихо; они наслаждаются счастьем... потому что на земле другого счастья нет» (379).

Вместо мечтательного Ленского – полуобразованный помещик Крупицын, в финале – счастливый отец семейства. Рациональный Вязовнин «оттягивает» на себя судьбу убитого на дуэли Ленского, будучи просто здравомыслящим неудачником. Счастье, как несколько иронично рассуждает автор повести, есть состояние неизменности и покоя. В пушкинском романе в стихах представлены два варианта романтического сознания и поведения: байроническое, тяготеющее к философии поступка, экзистенциально-этическое и вместе с тем имморалистское, – и геттингенское, философско-эстетическое. В повести Тургенева происходит конвергенция культурных подсистем: в ней не только различаются два типа мировидения, но даже столичное мимикрирует под провинциальное и, в конце концов, сливается с ним: Заметим, что «литературоцентричность» пушкинских героев позволяет отнести обоих к бытовой культуре романтизма; в случае тургеневских персонажей выделяется иной культурологический кластер: столичная и провинциальная бытовая культура. Меняются референтные основания для сопоставления персонажей; условно это «литература» в 1820-е гг. и «быт» в 1840-е. Человек 1840-х годов отличается от человека 1820-х гг. тем, что сознание его прагматично. Протосюжетная схема инициации, актуальная для пушкинского романа в стихах, в тургеневской повести «свернута»: человек, в сущности, не нуждается в посвящении / преобразении / воскрешении: он духовно неизменен и, видимо, «мертв»; зато душевно – готов к сопереживанию (в повести «Два приятеля» это неустанная забота Крупицына о его друге и трепетное отношение к его памяти всего семейства Крупицыных). Смена антропологических координат в структуре человеческого существа (ментальное замещается этически-

эмоциональным)¹ свидетельствует об изменении образа человека в русской литературе. «Обыкновенный» человек и повседневная жизнь с ее мелкими событиями становятся едва ли не единственным эстетически ценностным объектом русской литературы середины XIX века.

Литература

- Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2008.
- Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. М., 1983.
- Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М., 1981–1986. Т. 4. М., 1980.
- Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М., 1981–1986. Т. 9. М., 1982.
- Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тюпа В.И. Словарь мотивов как научная проблема (на материале пушкинского творчества) // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 2003. Вып. 1.
- Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М., 2003.
- Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999.

¹ «Душа – это орган внутренней жизни человека, т.е. всего того, что не связано непосредственно ни с физиологией, ни с деятельностью интеллекта. Это средоточие внутреннего мира человека, его истинных чувств и желаний, всего жизненно важного для человека»; «С точки зрения этика душа является носителем некоего этического идеала, которому должна соответствовать...». «Дух, в отличие от души, не мыслится как средоточие внутренней жизни человека, не отождествляется с личностью субъекта – он гораздо менее индивидуален. <...> Дух предстает как частица некоего единого начала, некоей единой субстанции внутри конкретного человека. В связи с этим дух может мыслиться как нечто присущее человечеству, людям вообще» [Урысон, 2003, с. 22, 23, 66].